

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2010 г. В.М. АЛПАТОВ, М.И. ИСАЕВ

**ВЫДАЮЩИЙСЯ ИРАНИСТ
И ТЕОРЕТИК ЯЗЫКОЗНАНИЯ В.И. АБАЕВ
(к 110-летию со дня рождения ученого)**

В статье рассматриваются основные идеи и этапы деятельности выдающегося лингвиста Василия Ивановича Абаева.

Выдающийся ученый-филолог двадцатого столетия Василий Иванович Абаев родился 15 декабря 1900 г. в с. Коби Душетского уезда Тифлисской губернии (ныне Казбежского района Грузии). Начальное образование он получил в сельской Кобийской школе, а среднее – в Тифлисской 6-й классической гимназии (1910–1918). Несколько лет он работал учителем в Кобийской начальной школе, а затем (1922 г.) поступает в Петроградский государственный университет на иранский разряд этнолого-лингвистического отделения факультета общественных наук.

Еще будучи студентом, В.И. Абаев публикует свои первые научные работы, а по окончании вуза, в 1925 г., по предложению Н.Я. Марра он зачислен аспирантом Научно-исследовательского института сравнительного изучения языков и литератур Запада и Востока при ЛГУ. Его научный руководитель Н.Я. Марр обратил внимание на активную исследовательскую деятельность своего аспиранта и по окончании учебы направляет его на работу в Кавказский историко-археологический институт Академии наук СССР (в 1928 г.). Через два года, в 1930 г., он зачисляется научным сотрудником Яфетического института Академии наук, впоследствии переименованного в Институт языка и мышления АН СССР.

В 1935 г. В.И. Абаеву, автору 36 печатных трудов, присуждена степень кандидата филологических наук (без защиты диссертации). В том же году ученый был командирован в Осетию со специальным заданием Президента Академии наук для научной консультации издания осетинского нартовского эпоса. Оторванный от Ленинграда войной, он в период с 1941 по 1945 г. работает в Северо-Осетинском и Юго-Осетинском научно-исследовательских институтах, затем возвращается в Ленинград и продолжает работать в Институте языка и мышления, который после языковедческой дискуссии 1950–1952 гг. был переименован в Институт языкознания АН СССР. Основной его костяк перебазировался в Москву, куда был переведен и наш ученый. В 1962 г. ему была присуждена степень доктора филологических наук (опять без защиты диссертации), а в 1969 г. – присвоено звание профессора.

В.И. Абаев был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и рядом медалей; ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Северо-Осетин-

ской АССР (1957), заслуженного деятеля науки Грузинской ССР (1980), ему присуждена Государственная премия имени Коста Хетагурова (1966), Государственная премия СССР (1981), премия имени академика Чикобавы (1998). Кроме того, В.И. Абаев избран почетным членом Азиатского Королевского общества Великобритании и Ирландии (1966), членом-корреспондентом Финно-угорского общества (Хельсинки, 1973) и почетным членом РАЕН (секция «Российские энциклопедии», 1992).

Научное творчество – труды В.И. Абаева – поражают не только своим количеством, но и разнообразием тематики, а также основательностью. Характерной же чертой исследовательского почерка их автора является постоянное стремление к теоретическим обобщениям. Отсюда и обилие идей в работах ученого. Многие из этих идей являются концептуальными и встречаются в трудах, посвященных проблемам различных отделов языкознания, литературоведения, нартоведения.

I

Первые новые идеи В.И. Абаева опубликованы в его осетиноведческих трудах, охватывающих все стороны языка и фольклора осетин.

В области фонетики новые положения выдвинуты прежде всего по вопросам ударения и фонологии.

Дело в том, что предшественники В.И. Абаева (академики А.М. Шегрен, В.Ф. Миллер и др.) потерпели неудачу в попытках установить закономерности осетинского ударения. Они стремились решить проблему путем постановки ударения на отдельном слове. Но в потоке речи ударение на отдельном слове меняло место, а то и вовсе исчезало.

За решение проблемы взялся молодой исследователь В.И. Абаев и провел кропотливую работу. Он записал у сказителей 10 нартовских сказаний, проставил ударения и выдвинул идею о том, что «Satzakzent представляет одну из интереснейших глав осетинской грамматики, где скрещиваются вопросы фонетики, семантики, синтаксиса и, в конечном счете, языковой типологии» [Абаев 1939: 7–8].

Ученый выявил, что в потоке живой речи группа слов, находящихся в определенной синтаксической связи, может носить одно единственное основное ударение (не считая вторичных, очень слабых). Подобные группы он назвал «акцентуальными комплексами». Далее устанавливается, что всегда комплексы образуют:

- 1) предлог с управляемым словом;
- 2) определение с определяемым;
- 3) глагол в неопределенном наклонении с дополнением к нему;
- 4) сложное сказуемое, где имя предшествует вспомогательному глаголу.

Итогом реализации новой идеи ученого явилось установление «основных акцентуальных законов иронского наречия (одного из двух основных диалектов осетинского языка, одинаковые как для отдельных слов, так и для групп, как бы много слов они ни включали)» [Абаев 1949а: 530].

Из новых идей В.И. Абаева в области осетинской фонологии следует указать и на выявление так называемого «четвертого ряда смычных». Если до него иранисты-осетиноведы вели речь о трех рядах смычных (ряд звонких, ряд глухих придыхательных, ряд смычно-гортанных), то В.И. Абаев к ним добавляет «четвертый ряд», т. е. ряд глухих непридыхательных. Он устанавливает также конкретные случаи их появления: а) после глухих спирантов *c, x, φ*; б) в так называемой геминации.

Согласные четвертого ряда в осетинском довольно многочисленны. Однако, как устанавливает ученый в специальной работе [Абаев 1949а: 512 и сл.], они не могут быть названы в осетинском фонемами в полном смысле, а остаются фонетическими вариантами соответствующих смычных.

Плодотворными и концептуальными оказались идеи, сформулированные по вопросам появления в осетинском языке так называемых «смычно-гортанных согласных». Ученый подверг глубокому исследованию эту проблему, по которой опубликовал несколько работ. В этих трудах автор анализирует данную проблему и делает обоб-

щения, значение которых выходит далеко за рамки осетиноведения и даже индоевропеистики.

Опираясь на высказывания, с одной стороны, В.Ф. Миллера, с другой – Н.Я. Марра, В.И. Абаев изучил вопрос о появлении и употреблении в осетинском языке смычно-гортанных фонем *къ, нь, ть, цъ, чъ*. Ученый показывает на конкретном языковом материале, что смычно-гортанные не имеют в осетинском широкого распространения, и в период формирования осетинского языка они не составляли органического элемента его фонологической структуры. «Они входили в язык вместе с кавказской лексикой и лишь постепенно в некоторые некавказские слова. Так как освоение их требовало известных усилий и сопровождалось напряжением артикулирующих органов, то они стали охотно употребляться для выражения понятий физического усилия и для звукоподражаний соответствующего круга» [Абаев 1949а: 524]. С увеличением числа слов, содержащих смычно-гортанные, эти звуки стали приобретать смыслоразличительное значение, т. е. превратились в фонемы осетинского языка.

Материал, собранный и исследованный В.И. Абаевым, подтверждает и возводит в ранг прочно установленного факта положение о том, что смычно-гортанные появились в осетинском из «кавказских» языков так же, как и в армянском. Однако степень проникновения этих фонем в два языка разная: в армянский они вошли глубже, чем в осетинский.

В.И. Абаеву принадлежит и другое исследование в области консонантизма – появление в иронском диалекте новых фонем-аффрикат *ч, дж, чъ*. Он показал, что эти фонемы возникли благодаря палатализации задненебных простых смычных *к, г, къ* перед гласными *и, е, ы*. Правильность этого положения нетрудно показать на двух фактах современного осетинского языка. Во-первых, существует в современном литературном (иронском) языке фонетический закон, согласно которому переход *к, г, къ* перед гласными *и, е, ы* соответственно в *ч, дж, чъ* является живым процессом. Например:

лаæ г «человек» – *лаæ джы* «человека»

карк «курица» – *карчимæ* «с курицей»

даæ ркъ «козленок» – *даæ рчъы* «козленка» и т. д.

Во-вторых, простые смычные сохранились в более архаичном дигорском диалекте. Например:

диг. *кизгæ* – ир. *чызг* «девушка»

къираæ – *чъыр* «известь»

гетъре – *джитъри* «огурец»

кепена – *чепена* «хороводный танец».

Этот переход совершился в течение последних столетий.

Наконец, автор указывает еще на один фонетический процесс, происходящий в тот же период. Это замена начального *æ* в иронском гласным *ы*.

В.И. Абаеву принадлежит также идея о делении осетинских гласных на «сильные» и «слабые». Дело в том, что осетинские гласные восходят исторически к долгим или кратким, которые четко противопоставлялись друг другу в древнеиранском. Долгие от кратких отличались главным образом большей протяженностью. Подобное деление сохраняется и в среднеиранских языках (например, в среднеперсидском), а также в некоторых современных иранских языках (например, в белуджском).

Что касается большинства современных иранских языков, то в них на место чисто количественному противопоставлению в той или иной степени пришло противопоставление качественное.

В осетинском языке количество гласных (их протяженность) также претерпело большие изменения. Тем не менее иранисты и осетиноведы продолжали именовать осетинские гласные по традиционной иранской терминологии «долгими и краткими». Однако, если подобное название можно сохранить для дигорского вокализма (где противопоставление гласных по их протяженности сохранилось намного лучше), то для иронского оно уже не отражает самого существа дела. В иронском вокализме на первый план выступает не *количество* (долгота) гласных, а их *качество*. Но и старое распре-

деление гласных на долгие и краткие не исчезло бесследно. Поэтому применительно к иронским гласным весьма приемлемо название, предложенное В.И. Абаевым, – «сильные» (а, о, и, у, е) и «слабые» (æ, ы). Сильные восходят, как правило, к историческим долгим, а слабые – к кратким. Сильные и слабые по-разному ведут себя до сих пор в целом ряде случаев (при постановке ударения, при встрече и др.).

Будучи историком языка, В.И. Абаев в то же время неутомимо трудится над выявлением особенностей строя современного осетинского языка. Более того, нынешнее состояние элементов структуры языка становится тем плацдармом, опираясь на который ученый совершает глубокие экскурсы в историю языка. С другой стороны, зачастую историзм как лингвистический метод становится в умелых руках В.И. Абаева верным ключом для вскрытия многих тайников современного осетинского языка и выдвижения новых концептуальных идей. Так, он подверг глубокому анализу многие фундаментальные проблемы грамматики современного осетинского языка. Среди них особо следует выделить проблемы *склонения, спряжения и превербов*.

В течение многих десятилетий одной из «горячих точек» осетинской грамматики является падежная система. Эта лингвистическая проблема имеет свою историю. Ее разрабатывали все корифеи осетиноведения (А. Шегрен, Вс. Миллер и В.И. Абаев), ее касались почти все исследователи осетинского языка, о ней спорили и спорят поныне. Чаще всего осетиноведы скрещивают шпаги по вопросу о винительном падеже. Одни говорят, что в осетинском языке существует этот падеж, другие категорически отрицают его наличие. В.И. Абаев выступил со статьей «О винительном падеже в осетинском» [Абаев 1949б]. В статье с довольно скромным названием автор поднимает ряд принципиальных осетиноведческих и даже общезыковедческих вопросов.

Дело в том, что утвердившееся еще со времен Клапрота мнение об индоевропейском характере осетинского языка нередко сковывало осетиноведов в их исследовательской практике. В то время еще не была открыта «вторая природа» осетинского языка – кавказский субстрат. Вот почему не удивляет наличие винительного падежа, для которого не существует особого грамматического показателя, в падежных системах А. Шегрена и Вс. Миллера.

Вполне естественно, что, открыв кавказский субстрат, В.И. Абаев отказался от многих установившихся догм, включая и систему падежей.

Если начинать с А. Шегрена, основоположника осетиноведения, то в его восьмипадежной системе (именительный, звательный, винительный, дательный, родительный, местный внутренний, местный внешний, отводительный) прочное место занимает винительный. К перечисленным выше падежам Вс. Миллер добавил еще два: совместный падеж с окончанием *-имæ* и адессив с окончанием *-ыл*.

Падежная система Шегрена–Миллера спустя более полувека была подвергнута глубокому анализу; в результате в нее был внесен ряд существенных изменений, включая и названия. Это касается прежде всего наименования падежей: а) падеж на *-мæ*, *-æмæ*, который назывался ранее *местным внешним*, В.И. Абаев предложил назвать *направительным*; б) падеж на *-ыл*, *-уыл*, диг. *-бæл*, называемый Миллером *адессивом*, В.И. Абаев именует *местным внешним*. Общепринятым стал и введенный В.И. Абаевым новый *уподобительный* падеж. Он предложил также исключить из падежной системы *винительный* падеж, который в осетинском не имеет специального морфологического оформления.

Если в вопросе о названиях падежей и включения в схему уподобительного падежа ученый не встретил серьезных возражений, то с исключением винительного падежа дело обстояло иначе. С этим падежом расстаются неохотно.

В.И. Абаев подчеркивает, что при установлении падежной системы не следует смешивать двух моментов: морфологической характеристики падежа и его синтаксической функции. Дело в том, что одна и та же флексия может выполнять разные функции и, наоборот, одна и та же функция может выражаться разными падежами. Поэтому при установлении морфологической системы изменения слов (т. е. склонения) нужно исходить только из морфологической характеристики, а не из функции.

Вопросы, связанные с *глаголом*, изучаются в целом ряде трудов В.И. Абаева. Специально посвящаются проблеме осетинского глагола работы «К истории осетинского спряжения» и «О залоговой недифференцированности причастий».

В первой из них автор исследует вопрос о различных формах прошедшего времени в глаголах непереходных и переходных. Он после глубокого исторического изучения вопроса приходит к заключению, что осетинский язык для различения форм непереходных и переходных глаголов в прошедшем времени использовал две формы одного и того же вспомогательного глагола «быть» (*айн*, *уаин*).

В работе «О залоговой недифференцированности причастий» В.И. Абаев исследует вопрос о залоговом делении осетинских причастий. Автор приходит к заключению, что «залоговые границы между ними весьма текучи и зыбки. Видимая залоговая четкость в причастиях настоящего и прошедшего времени рассеивается при более близком рассмотрении» [Абаев 1949а: 571].

Глубокому исследованию подверглись в трудах В.И. Абаева осетинские *превербы*, которые привлекают внимание ученых своей полифункциональностью. Они выполняют целый ряд функций: *видообразовательную*, *словообразовательную*, *словоизменительную* и др.

А. Шегрен отметил такие функции превербов, как а) локативная, б) словоизменительная, в) функция качественной характеристики действия. Вс. Миллер наряду с этимологией превербов дал более точные характеристики пространственных значений превербов. Особо отмечена видообразовательная функция преверба *фæ*. Ученый выделил также превербы, встречающиеся лишь в сращениях.

Тем не менее, функциональная сторона превербов долгое время оставалась недостаточно изученной. Почти не раскрыта их видообразовательная функция и недостаточно выявлены их пространственные значения.

В дальнейшем, в связи с раскрытием «второй (кавказской) природы» осетинского языка, стало возможным выявление новых закономерностей в функциях превербов. Стала очевидной недостаточность приведенных Вс. Миллером локативных значений, не учитывающих «точку зрения наблюдателя».

В.И. Абаев, углубляя имеющиеся представления об осетинских превербах, подчеркнул, что последние, в отличие от префиксов индоевропейских, выражают не только направление передвижения абстрактно в пространстве, но и положение наблюдающего субъекта по отношению к движущемуся предмету. Наличие аналогий в грузинском и ряде восточногогорских языков позволило ученому рассматривать это явление как одно из свойств субстрата.

Превербы в осетинском, являясь по происхождению иранскими, как бы наполнились новым содержанием. Этот существенный вывод, убедительно подтверждающий субстратную теорию формирования осетинского языка, открыл новые возможности дальнейшего изучения сущности осетинских глагольных категорий.

Перечисленные идеи в области строя осетинского языка составили целостную концепцию, позволившую автору написать «Грамматический очерк осетинского языка» [Абаев 1959], послуживший по существу первой научной грамматикой, а также надежной базой для написания затем двухтомного коллективного труда «Грамматика осетинского языка» [Абаев 1963–1969].

Высказанные В.И. Абаевым идеи в области **социологии** осетинского языка также выстраиваются в стройную концепцию. Это обстоятельство во многом способствует решению такой довольно сложной проблемы, как взаимоотношение диалектов и литературного языка.

Как и у некоторых других народов нашей страны (скажем, у мордвы и марийцев), у осетин исторически сложились два основных диалекта (иронский и дигорский), на которых параллельно развивается письменность. Однако в прошлом предпринимались жесткие меры по ограничению и даже полной приостановке литературной деятельности на базе дигорского диалекта (на котором говорит меньшинство осетин, примерно четверть). В этой обстановке не раз звучал голос В.И. Абаева, призывавшего к спокой-

ному и научному подходу к проблеме. Особенно основательно остановился ученый на этом вопросе в своем капитальном труде [Абаев 1949а: 357–493].

Остужая горячие головы политизированных «специалистов», крикливо заявлявших о якобы уже свершившемся факте становления осетинского литературного языка, который «необходимо оберегать от влияния диалектов», В.И. Абаев провозглашает глубоко научный подход к данному вопросу применительно к младописьменному языку.

Проявляя острое социолингвистическое чутье, ученый четко разграничивает значение диалектологии для судеб литературного языка у младописьменных народов, с одной стороны, и наций со старой письменностью, с другой. В старописьменных языках (как, например, русский) «изучение диалектов, весьма полезное и необходимое с разных точек зрения, не может, однако, отразиться на судьбах литературного языка, ибо литературный язык уже создан, стабилизирован, он богат, крепок и его путь ясен. В осетинском же литературный язык молод, он нуждается пока в постоянной заботе, культивировании, обогащении» [Абаев 1949а: 358].

По Абаеву, положить один из диалектов в основу литературного языка – это еще не значит создать в действительности национальный литературный язык. На такую роль может претендовать только язык, который преодолевает ограниченность одного, хотя бы и крупного диалекта, который из всего многообразия диалектальных норм языка вбирает в себя все самое прогрессивное, самое жизнеспособное, самое современное и нужное, который строится с учетом истории языка в прошлом и тенденций его развития в настоящем [Там же]. В.И. Абаев подчеркивает *длительность* процесса становления общенационального литературного языка.

В то же время в Осетии власти нередко поддерживали тех, кто форсировал этот процесс. В результате постоянной дискриминации подвергались те, кто пишет подигорски. В школах не изучалась дигорскими детьми их родная речь.

По существу проповедовался ненаучный тезис о том, что иронский – это язык, а дигорский – это диалект, что не могло не вызвать резкий протест среди дигорской интеллигенции.

И вот в самый разгар очередной дискуссии по вопросу о литературном языке В.И. Абаев выступил со статьей, в которой ученый уже называет дигорский *языком*. Слова выдающегося осетиноведа прозвучали как гром среди ясного неба...

Некоторые коллеги в этом увидели противоречие, т. к. до сих пор В.И. Абаев не один десяток раз называл дигорский *диалектом*. Однако эти критики упустили из виду то обстоятельство, что и иронский называется в таких случаях *диалектом*.

Концептуальная идея В.И. Абаева в данном случае, по-видимому, заключается в следующем. Когда речь идет об общенародном (ненормированном) языке, обе разновидности осетинского языка – иронский и дигорский – конечно же, *диалекты*. Однако если мы рассматриваем литературную речь, то следует говорить о *литературных языках*, базирующихся на обоих диалектах.

Как бы то ни было, новая постановка вопроса в значительной мере помогла решению данной проблемы. В результате соответствующая идея была реализована и в новой конституции Республики Северная Осетия–Алания, в специальной статье которой отмечается равноправие обоих осетинских диалектов – иронского и дигорского.

Следует подчеркнуть, что многие концептуальные идеи В.И. Абаева, хотя и высказаны в осетиноведческих трудах ученого, имеют более широкий общетеоретический характер.

С вопросами *лексикографии* В.И. Абаев столкнулся еще на заре своей научной деятельности. Будучи студентом, он принял активное участие в работе известного ираниста А.А. Фреймана по изданию трехтомного «Осетинско-русско-немецкого словаря» В.Ф. Миллера.

По-видимому, именно в процессе этой работы у одаренного начинающего ученого пробуждается интерес к проблемам лексики своего родного языка. К тому же на занятиях по иранистике он начинает осознавать то особенное место, которое занимает осетинский среди других иранских и индоевропейских языков.

В процессе работы над словарем В.Ф. Миллера у В.И. Абаева зарождается идея о необходимости составления русско-осетинского словаря. Этого требовали как чисто научные интересы (осетинским начали заниматься многие зарубежные ученые), так и практические, вызванные началом интенсивного культурного строительства в Осетии.

Работа над русско-осетинским словарем была кропотливой, тем более что В.И. Абаев уже непрерывно начал заниматься составлением основного труда всей своей жизни – «Историко-этимологического словаря осетинского языка» (см. ниже). Надо заметить, что занятия над обоими словарями в известной мере дополняли друг друга, т. к. и в этимологическом труде автор постоянно сталкивался с необходимостью перевода на русский язык осетинского лингвистического материала.

Появление в 1950 г. «Русско-осетинского словаря» В.И. Абаева, уже к тому времени широко известного ученого, было большим событием в осетиноведении, т. к. в это время потребность в словаре такого типа остро ощущается в связи с огромной тягой осетин к русской литературе и культуре и все распространяющейся переводческой работой в Осетии [Абаев 1950].

Словарь В.И. Абаева сыграл большую роль в культурном строительстве в Осетии, где как раз в пятидесятые-шестидесятые годы наблюдается новое значительное расширение издательского дела. К тому же русский язык становится вторым для огромного большинства осетин, т. е. утверждается двуязычие.

Деятельность работников науки и культуры в Осетии выдвинула некоторые новые задачи к осетинской лексикографии. Их учет требовал переиздания словаря, что и было осуществлено автором и ответственным редактором (М.И. Исаевым) в 1970 г.

Сохранились принципы составления первого издания словаря. Но вместе с тем была проделана значительная работа: а) пополнен словник, б) уточнены и обогащены синонимикой осетинские переводы русских слов и словосочетаний, в) пополнен иллюстративный материал (включая фразеологию), г) орфография осетинского материала приведена в соответствие с действующими нормами и др.

«Русско-осетинский словарь» явился важнейшим итогом лексикографической работы В.И. Абаева в синхронном плане. Что касается исторической лексикологии, то она представляет собой главное направление и реализуется в многочисленных трудах ученого.

И в данном случае отправным пунктом и исследовательской базой для ученого служит его родной осетинский язык, словарный состав которого, как и другие стороны структуры языка, в прошлом изучались почти исключительно в исконной, иранской его части.

В области исторического толкования исконно осетинских лексем до В.И. Абаева была проведена (в основном В.Ф. Миллером) определенная работа. Достаточно отметить, что для 800 осетинских слов были выявлены их иранские и индоевропейские соответствия. Это примерно 20% зафиксированной лексики. Но они относятся к наиболее существенным пластам лексики: числительным, местоимениям, широкоупотребительным глаголам, терминам скотоводства, терминам родства и т. п. Помимо этого было также разъяснено почти столько же заимствований из арабского, персидского, грузинского языков. Из других категорий слов получили свои разъяснения около 200, т. е. еще 10% всей лексики.

Таким образом, В.И. Абаев приступил к фундаментальному анализу лексики осетинского языка, когда она была изучена примерно на 50%. К этому следует добавить, что почти все имевшиеся разъяснения слов впоследствии Абаевым были дополнены, уточнены, а порой и построены заново.

Дальнейшая плодотворная работа над изучением словаря осетинского языка требовала определенных предпосылок, новых идей, которые сам ученый сформулировал следующим образом:

«1) необходимо привлечь широко кавказские языки как соседящие с осетинским, так и более отдаленные;

2) необходимо при сравнительном изучении лексических фактов отрешиться от традиционной формулы: “либо родство, либо заимствование”, так как нельзя теперь уже не видеть, что междязыковые взаимоотношения гораздо сложнее этой формулы и что смешение языков ставит перед нами такие вопросы, удовлетворительное решение которых невозможно традиционными методами» [Абаев 1949а: 103–104].

Как видно, и в лексике ученый, всегда идущий по линии наибольшего сопротивления, избрал для себя не изведенное еще поле исследовательской деятельности.

Всесторонний и глубокий анализ осетинско-кавказских лингвокультурных взаимоотношений позволил ученому выдвинуть концепцию *кавказского субстрата* (см. ниже). Это дало возможность ученому сделать ряд новых обобщений и выдвинуть новые идеи, объясняющие особенности развития осетинской лексики.

В ряде работ В.И. Абаев упорно исследует проблему кавказского вклада в становление лексики современного осетинского языка. В частности, в работе «К характеристике современного осетинского языка» [Абаев 1949а: 95–109] автор анализирует «некоторые осетино-кавказские лексические схождения, относящиеся к достаточно важным в бытовом и культурно-историческом отношении областям и дающие представление о глубине и интимности осетино-кавказских культурных связей» [Там же: 105]. Автор приводит множество современных осетинских слов, этимология которых связывается с кавказским лингвокультурным миром.

Плодотворной оказалась идея В.И. Абаева о том, что диалектология может пролить новый свет на взаимоотношения иранского и кавказского элементов в эпоху становления современного осетинского языка. С этой точки зрения ученый анализирует лексические схождения и расхождения между двумя диалектами – иронским и дигорским – и приходит к важному выводу, а именно: *схождения идут преимущественно по линии иранской лексики, а расхождения – по линии неиранской* (по преимуществу кавказской).

Выявление этого факта, на первый взгляд не столь существенного, по Абаеву имеет в действительности существенное значение, т. к. дает ключ к пониманию того, что происходило на заре истории осетинского и других индоевропейских языков; вводит нас в самую лабораторию «индоевропеизации».

Будучи историком языка и лексикографом, В.И. Абаев не мог не уделить большого внимания исследованию осетинских диалектов, основными из которых считаются *иронский* и *дигорский*. Как отмечает сам ученый, «неоценимой сокровищницей для историка осетинского языка является в особенности дигорский диалект. Достаточно сказать, что в области фонетики и отчасти морфологии он отражает нормы, переходные от древнеиранских к современным иронским. Иначе говоря, в ряде явлений фонетики и морфологии дигорский и иронский диалекты могут быть рассматриваемы как два последовательных этапа развития одного и того же языка» [Абаев 1949а: 360].

В плане лексикографическом следует подчеркнуть особое значение «Словаря дигорско-иронских расхождений», составленного В.И. Абаевым [Абаев 1949а]. В словаре лексические расхождения между двумя основными осетинскими диалектами сводятся к трем категориям:

дигорские слова, совершенно различные в иронском и дигорском (954 слова);

дигорские слова, различные по *форме*, причем эти различия выходят за рамки обычных фонетических соответствий (248);

дигорские слова, различные по *употреблению*, хотя и тождественные по происхождению и по форме (140).

Анализ диалектных расхождений позволяет констатировать, что значительная их часть приходится на неиранские элементы. Часть их представляют собой относительно новые заимствования из соседних языков – тюркских, грузинского, кабардинского и др. Но многие из них в соседних языках отсутствуют или же имеются, но в слишком отличной внешней форме. Поэтому они автором причисляются к языковому субстрату.

Объясняя факт схождения диалектов в иранской части лексики и расхождения в субстратной части, В.И. Абаев приходит к существенному этнолингвистическому выводу. «Очевидно то, – пишет ученый, – что *субстратная среда была многоязычна*,

лингвистически раздроблена, в то время как иранская, будучи более единообразной и цельной, наложилась на первую как некое сближающее, унифицирующее начало, как *lingua franca*, т. е. как язык межплеменного общения» [Абаев 1949а: 121].

Ученый понимает важность своей идеи в том плане, что создается возможность проникнуть в историческую обстановку и условия образования индоевропейских языков на субстрате доиндоевропейского мира. По Абаеву, «сущность индоевропеизации, исторический ее смысл, ее прогрессивное значение заключалась в том, что *благодаря ей на базе сильно раздробленных, мелких, отсталых доисторических языковых образований Европы и Передней Азии создались более крупные языковые объединения*» [Там же].

Как уже отмечалось, после тщательного и всестороннего анализа конкретного лингвистического материала автор делает обобщения, выдвигает идеи, значение которых выходит за пределы осетиноведения, иранистики, а то и индоевропеистики. Не является исключением и работа «О взаимоотношении иранского и кавказского элементов в осетинском», заканчивающаяся важными выводами.

В них, в частности, говорится, что «в словарный состав осетинского языка кавказский элемент вторгается частично в лексический минимум, что нельзя объяснить иначе, как на почве длительного двуязычия» [Абаев 1949а: 122]. Что касается рассмотрения лексики по диалектам, то оно приводит автора к мысли, что «иранская речь играла роль межплеменного языка для тех микроплеменных групп, которые составляют кавказский субстрат осетинского народа». Это объясняет и наличие двуязычия у народов региона в определенный исторический период [Там же].

Сказанное, в свою очередь, позволяет автору прийти к более общему умозаключению, согласно которому «исторический смысл индоевропеизации заключается в том, что она обеспечила средством межплеменного общения раздробленные, мелкие и мельчайшие этноязыковые группы доисторической Евразии и тем ответила на назревшую потребность в рассмотрении и укреплении языковых объединений на новой ступени хозяйственного и социального развития древнего общества [Там же].

В процессе непрерывной работы над этимологическим словарем у В.И. Абаева накопился существенный историко-лексикологический материал, потребовавший дополнения авторской концепции становления осетинского языка. Если в предыдущие годы была выдвинута концепция «второй (кавказской) природы» осетинского языка, то теперь стало необходимым рассмотрение его исторической природы в более широком этнолингвистическом контексте. Так, в 60-е годы автор открыл еще одно – до этих пор никому не известное – более точное свойство родного языка. Многочисленные факты привели ученого к мысли об особой близости осетинского языка к языкам европейского ареала – славянским, балтийским, германским, итальянским, кельтским. По ряду признаков – лексических, фонетических, грамматических – осетинский язык, порывая с другими иранскими, смыкается с перечисленными выше европейскими языками.

Изучению этого вопроса В.И. Абаев посвятил специальную книгу [Абаев 1965]. Причем под этим автор подразумевает ряд специфических черт, которые сближают осетинский («скифский») с европейскими языками (славянскими, балтийскими, германскими, итальянскими, кельтскими). Подводя основные итоги проведенному глубокому изучению изоглосс, В.И. Абаев убедительно показывает, что «вакуум» в истории осетинского языка заполняется. И это очень существенное достижение самого ученого. Дело в том, что некоторые специалисты (например, Э. Бенвенист) говорили о будто бы существующем вакууме между древнеиранским и кавказским периодами развития осетинского языка. В действительности же этот период заполнен полнокровными контактами, оставившими глубокий конструктивный след в истории осетинского языка.

Исследованный Василием Ивановичем материал не является синхронным, т. е. не относится к одной определенной эпохе. Это и понятно, ибо соседство скифо-сарматов с европейцами продолжалось много столетий, и связывающие их схождения, изоглоссы, могли возникнуть в разные периоды этого соседства. Однако выявленные изоглоссы объединяются определенными характеристиками.

Они не возводимы к иранской и индоевропейской общности, а возникли на почве ареальных (территориальных) контактов в Восточной и Средней Европе между скифо-сарматами и народами указанного выше европейского круга.

В.И. Абаев показывает, что одни изоглоссы имеют более ограниченный ареал распространения, связывая скифский с одним языком или группой европейских языков: славянской, балтийской, германской, латинским. Другие – с несколькими группами или всеми языками европейского круга. Характерно, что в этих изоглоссах не участвуют греческий и армянский языки.

К лексическим изоглоссам автор относит слова, обозначающие в осетинском такие понятия, как: *лосось, серп, колос, ярмо, пиво, покрывать, трогать, таять, валяться, целиться, мерзнуть, ложбина, маленький, голубь, слепой, мешочек, голос, суд, глотка, лентяй, хворост, волна, кузнец, около, ольха, скиф, кабан, корзина, цепь, шашлык, моль, хижина, показывать, убивать, посылать, рука, почет, воздух, снег* и др., всего свыше полусотни.

Названия вышеприведенных и других понятий имеют в европейских языках специфические сходжения. А что касается характера некоторых из них (*колос, урожай, серп, ярмо* и др.), то он дает В.И. Абаеву повод для постановки некоторых культурно-исторических вопросов, касающихся Центральной и Восточной Европы в древнюю эпоху.

Одним из наиболее важных выводов исследователя является утверждение, что североиранские племена были исконными обитателями Восточной Европы.

Венцом плодотворнейшей лексикографической и лексикологической деятельности В.И. Абаева, без сомнения, можно считать пятитомный «Историко-этимологический словарь осетинского языка» [Абаев 1958–1995], над созданием которого автор подвижнически трудился на протяжении более семидесяти (!) лет. Трудился один, без помощников и секретарей, вручную переписывая сотни тысяч карточек, выписывая «иллюстративный материал» из сотен и тысяч языковых источников... Словарь по целому ряду своих характеристик принадлежит к самым незаурядным явлениям в филологической науке. В нем реализовано множество концептуальных идей автора.

Нет сомнения, что с выходом последнего тома словарь стал третьей величайшей вершиной осетиноведения – после «Осетинской грамматики» А. Шегрена (1844 г.) и «Осетинских этюдов» В. Миллера (1881, 1882, 1887) – точно так же, как имя самого В.И. Абаева заняло прочное место в ряду имен «корифеев осетиноведения» – выдающихся русских ученых академиков А.М. Шегрена и В.Ф. Миллера.

Мы говорили до сих пор об осетиноведческих трудах В.И. Абаева, хотя следует заметить, что большинство из них носит более широкий иранистический характер (а порой и общетеоретический). Помимо этого целый ряд работ посвящен напрямую различным проблемам иранской филологии.

II

Василий Иванович Абаев широко известен как иранист. Гораздо реже его вспоминают как специалиста по теории языка. Отчасти это связано с тем, что этот ученый выступал в такой роли за свою долгую жизнь не слишком часто. Его иранистические труды многочисленны, и некоторые из них велики по объему, а в области общего языкознания у него при жизни не было книг, а статей в итоге оказалось не так много. Когда после смерти Василия Ивановича Отделение литературы и языка РАН приняло решение переиздать его теоретические работы отдельной книгой, то в нее удалось включить всего десять статей, правда, охватывающих длительный период (1933–1986). Книга «Статьи по теории и истории языкознания» вышла в 2006 г. в издательстве «Наука» (далее ссылки на это издание даются с указанием лишь номеров страниц) объемом всего лишь в 12 листов. Но и этого достаточно для того, чтобы считать Абаева одним из видных теоретиков отечественного языкознания советского периода. Недаром японский ученый К. Танака отнес его работы, особенно статью «Язык как идеология и язык как техника», к числу лучшего из того, что было создано в советской науке о языке [Танака

2000: 289–290]. Издание 2006 г. вызвало интерес у наших лингвистов (к сожалению, его тираж в 500 экземпляров оказался явно недостаточен).

В.И. Абаев был своеобразным ученым. В университете (1922–1925) и в аспирантуре (1925–1928) он был учеником Н.Я. Марра, оказавшего на него большое влияние. Академик ценил своего ученика, одно из свидетельств – именно по предложению Абаева он в своих поздних работах заменил термин «индоевропейцы» термином «прометеиды». Но Василий Иванович шел своим путем и к 30-м гг. преодолел «новое учение»; уже в первых теоретических работах, появившихся еще при жизни его учителя, он достаточно от него независим. И задолго до выступления И.В. Сталина Абаев самостоятельно пришел к осознанию общепринятого в любой лингвистике, кроме марристской, тезиса о языковом родстве, в частности, о родстве между собой иранских языков.

Однако, отойдя от марризма, он так до конца и не принял ни одну из ведущих в советской лингвистике после 1950 г. научных парадигм: ни позитивистскую лингвистику в духе конца XIX – начала XX в., ни сформировавшийся позже структурализм. Ближе всего по духу ему оказалась наука 10–50-х гг. XIX в. от В. фон Гумбольдта до А. Шлейхера, совмещавшая постановку масштабных задач с историческим подходом. Эти идеи он отстаивал всю жизнь.

Первые из теоретических работ ученого появились в первой половине 30-х гг., когда он стал одним из ведущих сотрудников Института языка и мышления АН СССР в Ленинграде. Это статьи, посвященные «фонетическому закону» (1933), языку как идеологии и языку как технике (1934).

Статья о фонетическом законе во многом была историографической. В ней автор рассматривал становление и развитие понятия закона, прежде всего, фонетического закона в исторической лингвистике, давая при этом свою оценку общего развития науки о языке. Эта оценка весьма примечательна.

В.И. Абаев сравнивает «науку основоположников» – языковедов начала и середины XIX в. и младограмматизм, господствовавший в науке о языке с 1870-х по 1910-е гг., а в области исторического языкознания и к моменту написания статьи, отдавая безусловное предпочтение первой. «С точки зрения философской воззрения младограмматиков представляют бесспорный шаг назад по сравнению со взглядами “стариков” – основоположников. Наука основоположников – это наука восходящего класса со всеми свойственными такой науке качествами: смелостью мысли, широтой размаха, высоко развитой способностью обобщения. Напротив, вся последующая лингвистика, т. е. как младограмматическая, так и “социологическая” школа [Ф. де Соссюр и А. Мейе – В.А.], это – наука нисходящего класса со свойственной такой науке неудержимой склонностью к трусливому и бескрылому крохоборству. И когда речь идет о буржуазном наследстве, для нас В. Гумбольдт и Фр. Бопп безусловно выше и ценнее Бругманна или Мейе, так же как в философии Гегель выше Вундта, в литературе Гёте выше Метерлинка, в музыке Бетховен выше Штрауса. При всех своих заблуждениях “старики” обладали достаточной широтой и глубиной философской мысли, чтобы воспринимать язык как некое *единство*, единство формы и содержания, обладающее специфическими свойствами и закономерностями.... Они были в полном смысле мыслителями, а не цеховыми катедерграмматиками. Они не боялись ставить “основные” вопросы, когда их приводил к этому ход исследования. Младограмматики же полностью испугались трудностей, и, чтобы избежать их, они заявили, что фундаментальные вопросы, над которыми вдумчиво и смело работала мысль основоположников, вовсе не существуют или, во всяком случае, не являются предметом лингвистики» (18).

Свои идеи В.И. Абаев высказывал в оболочке принятого тогда социологического подхода к истории науки, в соответствии с которым выделялись наука «восходящего класса» и «нисходящего класса». Однако само по себе противопоставление двух подходов к языку, действительно имевших философскую основу («основоположники» находились под влиянием немецкой классической философии от И. Канта до Г. Гегеля, а младограмматики были позитивистами), весьма существенно. Абаев, как мы увидим, исходил из него и в последующие годы.

Важна и содержащаяся в статье оценка основополагающего для исторической лингвистики понятия звукового закона. Хотя отмечено, что «у младограмматиков мы находим в наиболее грубой форме культ фонетических законов» (21), но само по себе это понятие необходимо, и на его основе в языкознании достигнуты «громадные результаты» (21). И В.И. Абаев дает четкую формулировку, не потерявшую значения и в наши дни: «Исследование, основанное на рабской вере в непогрешимость звуковых законов, обесценивается наполовину; исследование, вовсе игнорирующее эти законы, не имеет вообще никакой цены» (21). А игнорировал законы как раз Марр.

Понятие фонетического закона для исторической лингвистики необходимо, но не достаточно. Нужно идти дальше и вырабатывать общую теорию языковых изменений. Этой теории не было к 1933 г., и Василий Иванович мог здесь предложить лишь самые общие положения, главное из которых: «Основным *общим* условием возникновения звуковых изменений мы считаем *семантические* сдвиги» (24). Однако такая теория не существует и сейчас, а историческая семантика до сих пор разработана намного хуже исторической фонетики.

Если статья о фонетическом законе была, в первую очередь, полемической, то в статьях «Язык как идеология и язык как техника» и «Еще о языке как идеологии и как технике» (их целесообразно рассмотреть в комплексе) содержалось, прежде всего, изложение позитивных идей. Главная из них – противопоставление двух сторон языка: «идеологической» и «технической». Это различие – не то же самое, что разграничение формы и семантики: форма всегда технична, но семантика делится на «техническую» и «идеологическую» (28). В словаре представлена техническая семантика слова, но в этимологии, в связи с другими словами и между значениями слова отражается та или иная идеология. Например, техническая семантика слова *труд* выражает «понятие о производительной деятельности», но его этимологическая связь со *страданием* и *болезнью* отражает определенную идеологию (28). Техническая семантика показывает, что именно выражается данным словом, а идеологическая семантика, или идеосемантика связана с тем, каким образом это выражается: при появлении нового понятия «его наречение происходит... на определенной материальной основе *мировоззрения, идеологии* данной среды» (29). Поэтому в разных языках или в одном языке в разные эпохи одно и то же явление может именоваться по-разному.

У каждого «элемента речи», прежде всего, у слова, имеются «технически-эмпирическое» «ядро» и «идеологическая» «оболочка», состоящая из неустойчивых «идеологических представлений, настроений и ассоциаций» (30). Тот или иной элемент «оболочки» может со временем перейти в «ядро», этот семантический процесс именуется технизацией. Особо значима технизация в случае, если «элемент речи» попадает в чуждую социальную среду: от него остается лишь «ядро», в которое может войти и бывшая «оболочка», но «ядро» получает новую «оболочку» на основе иной идеологии. Тем самым «сужение идеологических функций языковой системы идет параллельно с расширением ее технических функций» (31). Процесс технизации сопоставляется с переходом от золотых денег к бумажным (32). Предельный случай технизации – грамматикализация. Возможно и обратное развитие, при котором прежняя идеология оживает, но ведущий процесс, «*генеральная линия* языкового развития» (33) – технизация. Именно благодаря ей «язык одной эпохи оказывается пригодным для другой..., язык одной социальной группы оказывается способным обслуживать другую» (35).

Оценка процесса технизации оказывается у В.И. Абаева двойственной. С одной стороны, этот процесс необходим и «технизация языка оказывается... истинным благодеянием: она экономит обществу силы, она избавляет общество от непосильного труда вновь и вновь переделывать сверху донизу свою речь» (35). Но, с другой стороны, «процесс технизации несет в себе... могучую *унифицирующую* тенденцию, которой живое семантическое сознание *сопротивляется*» (39). Как указывает В.И. Абаев, «если в процессе своего создания язык сам по себе есть некая идеология, то с течением времени он все более становится техникой для выражения других идеологий, техникой

для обслуживания общественной коммуникации» (35). «Язык будущего человечества нельзя представить себе иначе как языком предельной технизации» (43).

Такой подход позволял, кроме всего прочего, разумно решить важную для советской лингвистики того времени проблему классовости языка. Если марристские идеи о полной классовости языка вели к явному абсурду, а противоположная точка зрения, которую позднее выдвинет И.В. Сталин, игнорировала влияние социальных и идеологических факторов на язык, то данный подход оставлял возможности для анализа: язык как идеология классов, язык как техника вне классов. Но и структурный подход к языку оказывается до некоторой степени совместимым с идеями Абаева: в процессе технизации «язык приобретает с формальной стороны все более стройный, *системообразный* облик. Язык не рождается системой. Он уподобляется ей в процессе технизации» (40). Во второй статье ученый сочувственно отозвался о фонологии с «яркой идеей» фонемы (49). Но «мы не знаем языков (если не считать искусственных), где система была бы выдержана до конца, сверху донизу. Во всяком языке есть известное число “зlostных” элементов, которые продолжают сопротивляться обобщающим тенденциям и отстаивать свой индивидуальный облик» (40). Итак, язык одновременно системен и асистемен, «*системообразность языка пропорциональна его технизации*» (40), а структурные методы пригодны в своих рамках, но недостаточны, поскольку касаются техники, но не идеологии.

Слабым местом данной концепции, усилившимся в статье 1936 г., было отнесение «творческого периода» развития языка, когда «преобладают идеологически-созидательные процессы», к глубокой древности, тогда как современности оказываются свойственны «процессы технически-приспособительные» (36). Может быть, тут на В.И. Абаева повлияли идеи В. фон Гумбольдта о двух этапах истории языка: «развития» в древности и «тонкого совершенствования» в исторические эпохи. Но еще вероятнее влияние тогда не вполне преодоленных идей Н.Я. Марра о «лингвистической палеонтологии», выявлении в известных языках «реликтов первобытного мышления». В статье 1936 г. Абаев, возможно, под воздействием критики со стороны марристов прямо уравнивал изучение «языка как идеологии» и палеонтологию (55). В то же время, как отмечает Т.М. Николаева [Николаева 2000], идеи о языке как идеологии сходны с современными концепциями о картинах мира, отраженных в языке.

Концепция данных статей отличалась от идей современников В.И. Абаева, в том числе и его коллег по Институту языка и мышления. Зато она обнаруживает неожиданные сходства с еще более обособленной в советской науке позицией книги В.Н. Волошинова «Марксизм и философия языка» (иногда ее приписывают М.М. Бахтину, идеи которого, вероятно, в ней присутствуют). Мы ничего не знаем о том, знал ли Абаев эту книгу, но перекличка идей, как нам кажется, имела место [Алпатов 2005: 263–265].

В советской науке идеи идеосемантики развития тогда не получили. Однако сам В.И. Абаев продолжал исследования в этой области, о чем свидетельствует более поздняя статья «Понятие идеосемантики», над которой ученый работал в годы войны в Сталинири (ныне Цхинвал), где был опубликован ее первоначальный вариант. В окончательном виде статья вышла лишь в 1948 г. Здесь автор уже совсем независим от Н.Я. Марра, в частности, признавая родство языков. Гораздо в большей степени, чем в предыдущих статьях, он опирается на конкретный языковой материал, прежде всего, осетинского языка.

Статья посвящена проблемам исторической семантики. Вновь говорится о необходимости разграничивать техническую (малую) семантику и идеосемантику (большую семантику). Последняя по-прежнему понимается как «в конечном счете общественная идеология, отраженная в языке» (67), но она уже относится не только к глубокой древности, но к любым состояниям языков, включая современные. В отличие от прежних работ идеосемантика сближается с известным понятием внутренней формы, однако, не в широком смысле В. фон Гумбольдта, а в более узком смысле внутренней формы слова, восходящем к А.А. Потебне. По В.И. Абаеву, «идеосемантика начинается там, где начинаются тонкости и нюансы. Элементарное значение слова, его “малая семан-

тика», образует как бы скелет», а «истинное очарование всякого языка заключено в его идеосемантических тайнах» (65). «Скелет» более или менее един для разных языков, а «мышление и мировоззрение народа, его историческое прошлое, его быт и культура» отражены в идеосемантике (65). То есть еще яснее выражена идея об идеосемантике как языковой картине мира.

Однако при этом встает вопрос, актуальный и для современных исследований данной проблематики, В.И. Абаев четко его сформулировал, вероятно, одним из первых. Он пишет: «Является ли вскрытая анализом идеосемантика *актуальной, живой* или же *отжившей*, т. е. отвечает ли она нынешним действенным и в данный момент нормам познания и мышления, или она отражает нормы более или менее отдаленного прошлого и до нашего времени донесла только свою форму, тогда как питавшее эту форму содержание речевых элементов уже потускнело, выветрилось? Ответ на этот вопрос оказывается далеко не легким и требует чрезвычайно интимного знакомства с языком» (69). И в наши дни исследователи национальных, в том числе русских картин мира не всегда различают эти два случая, на что указывают лингвисты [Шайкевич 2005: 16].

В данной статье ученый вновь обратился к вопросу о системности и асистемности в языке, формулируя два противостоящих друг другу «основных закона языка»: «Все в языке держится на противопоставлениях» и «Все в языке подвержено взаимозамене и смешению» (64). Как известно, первое положение в то время было краеугольным камнем структурализма, второе же решительно отрицалось. А Василий Иванович, понимая, что эти положения исключают друг друга, считал, что на них надо «строить теорию языка», поскольку «это противоречие есть сама действительность», «и только данная конкретная ситуация решает, какой из этих двух противоположных факторов вступит в действие» (64).

Между публикацией статей «Понятие идеосемантики» (1948) и «О принципах этимологического словаря» (1952) прошло всего четыре года, но за это время ситуация в советском языкознании резко изменилась. Выступление И.В. Сталина похоронило «новое учение» Н.Я. Марра, а сам В.И. Абаев в конце 1951 – начале 1952 г. после жесткой статьи в журнале «Большевик» подвергся травле (существует не подтверждаемая документами версия о том, что речь шла об аресте, на который будто бы не дал санкцию И.В. Сталин). Эта кампания, впрочем, быстро прекратилась, а обличительное собрание в январе 1952 г. в Институте языкознания в Москве, где к тому времени уже работал Василий Иванович, кончилось для прорабатываемого неожиданно мягким решением. Ему всего лишь было предписано написать для только начавшего выходить журнала «Вопросы языкознания» статью с критикой своих ошибок. Но в статье, через несколько месяцев действительно опубликованной в журнале, нет никакого покаяния. Если отвлечься от неизбежных для 1952 г. похвал «гениальному труду» Сталина, то это серьезное изложение позитивных идей автора. В разгаре тогда была его работа над «Этимологическим словарем осетинского языка», а статья посвящена общим принципам работы над такими словарями. Период господства марризма привел к забвению или незнанию многими нашими языковедами самих принципов сравнительно-исторического исследования, и их обсуждение стало тогда актуальной проблемой.

Хотя прежние работы В.И. Абаева, как и других учеников Н.Я. Марра, перед этим подверглись критике за «злоупотребление семантикой», ученый подтвердил и в этой статье ряд их положений, обращая внимание на связь истории слов с историей мышления и подчеркивая, как «общие и отвлеченные понятия... постепенно формируются на базе, конкретных, образных представлений» (75). Но главное в статье – открытое признание верности, наконец, реабилитированного «самим» И.В. Сталиным сравнительно-исторического языкознания.

Если в 1952 г. о Н.Я. Марре можно было писать лишь резко критически, называя его четыре элемента лженаукой, то спустя несколько лет В.И. Абаев, пользуясь в качестве предлога 25-летием со дня смерти своего учителя, написал статью с более объективными его оценками. Тогда страсти уже улеглись, а проблемы, связанные с «новым учением»,

казалось, отошли в область истории науки. Тем не менее, статья проходила нелегко, большую роль в ее публикации сыграл активно ее поддерживавший акад. Н.И. Конрад. Статья вышла в начале 1960 г. в том же журнале «Вопросы языкознания». До сих пор это, пожалуй, лучшая из работ, посвященных Марру.

Положение Василия Ивановича было сложным: он за многое не мог не быть благодарным своему учителю, но не мог он и одобрить явно ненаучное «новое учение о языке», к тому времени уже окончательно отвергнутое лингвистами. И из этого положения он сумел выйти с честью, дав объективный, многомерный и противоречивый образ этого незаурядного человека, принесшего много бед нашей науке. По его выражению, Марр – это, «без сомнения, если не самое знаменитое, то самое “шумное” имя в истории советской науки» (87).

С одной стороны, «Марр засиял звездой первой величины» в «своего рода “могучей кучке” русского востоковедения», которую отличали «широта научного кругозора, необъятная эрудиция, превосходное владение первоисточниками» (88). «Выполненные им исследования и издания грузинских и армянских памятников были признаны образцовыми. Н.Я. Марр создал, в сущности, новую отрасль кавказоведения: армяно-грузинскую филологию» (88–89). Даже его исследования о скрещенном характере армянского языка признаются «весьма плодотворными» (89), а «в критике Марром “индоевропеистики” было на первых порах определенное здоровое зерно, роднящее его с таким корифеем лингвистического “диссидентства”, как Г. Шухардт» (93). Отмечены и личные качества Марра: «он находился в постоянном творческом горении, в неутомимых исканиях, был щедрым и неистощимым сеем идеями» (94).

Однако его работы в области лингвистики «с самого начала были очень неровными» (89), а методы сравнительно-исторического анализа у него «никогда не были удовлетворительными и изобличали отсутствие настоящей школы в этой отрасли его интересов» (90). При этом «его научная биография – неутомимое и жадное расширение материала и проблематики исследовательской работы», «неудержимая научная экспансия» (88). Все это привело к «постепенному отходу от точных лингвистических методов» и тому, что «А. Мейе назвал “авантюризмом”» (90). Это проявилось уже на этапе выдвижения идей о яфетической семье языков: «ни объем, ни содержание понятия “яфетические языки” не получили у Марра четкого определения» (91). «С течением времени мы все меньше видим упрямых фактов и все больше – упрямого автора» (91).

«Выходом из непреодолимых трудностей, с которым столкнулось “яфетическое языкознание” предшествующего периода» (92), стало для Марра сформулированное в 1923 г. «новое учение о языке». Даже оно оценивается неоднозначно: отмечены сохранившаяся у академика и в этот период «способность всякий частный вопрос... ставить широко, комплексно, в контексте всей культурной истории народа», а также то, что он выдвигал «на первый план значение» (94). Последняя идея, впервые, вероятно, воспринятая Абаевым от учителя, всегда была ему свойственна, даже в годы, когда в мировой лингвистике преобладало стремление сосредоточиться на формальных вопросах. Василий Иванович справедливо отмечает, что популярность Марра нельзя рассматривать как «исключительно результат полуадминистративного давления его сподвижников» (94): проблемы, которыми он занимался, действительно многим казались интересными.

Однако «о некоторых основных положениях созданного им [Марром. – В.А.] “нового учения о языке”, и в особенности о методах его обращения с лингвистическим материалом» можно сказать «мало отрадного» (95). Все базовые компоненты его «нового учения» (стадиальность, единство глоттогонического процесса, классовость языка) оказались ошибочными. Поставив важные вопросы, Марр не сумел их решить, а путь, на который он встал, «мог привести только к научной катастрофе» (97).

В конце статьи В.И. Абаев высказывает интересные идеи о психологии научного творчества, применимые не только к Марру. Опираясь на положения И.П. Павлова, он пишет: «Мозговую работу ученого можно представить как постоянное сосуществова-

ние, функционирование и взаимодействие двух центров: одного, в котором рождаются идеи (творческий центр), и другого, в котором эти идеи подвергаются строгой критической проверке, контролю, селекции (центр торможения). Оба они одинаково важны и необходимы для настоящего ученого... Бывает, что творческий центр пребывает в немоощном состоянии и работает по преимуществу центр торможения. Тогда мы получаем тип ученого-крохобора [ср. в статье 1933 г. о «крохоборстве» младограмматиков. – В.А.], выпускающего труды, где не к чему придраться, но нечем и вдохновиться... Марр был ученым противоположного склада. Трагедия последнего периода его деятельности состояла в том, что творческий центр работал у него с силой постоянно действующего вулкана, а центр торможения все больше ослабевал. Чем больше возрастал напор новых идей, рождавшихся в его мозгу, тем больше он утрачивал способность подвергать эти идеи критическому разбору» (98).

В том же самом 1960 г. появилась еще одна проблемная статья В.И. Абаева «Об историзме в описательном языкознании», также в основном посвященная истории науки. В ней автор исходил из тех же представлений, что и в статье 1933 г., но с несколько иной расстановкой акцентов. Как и раньше, он выше всего оценивает науку «основоположников»: В. фон Гумбольдта, Ф. Боппа, А. Шлейхера: это «наука прогрессивного, полного жизненных сил общества, сделавшая историзм своим знаменем» (99). Потом наступил век ««модернистских» течений в зарубежной науке» (99), по-прежнему оцениваемых как вырождение. Однако в связи с изменившейся обстановкой в советском языкознании на первый план выдвинута критика не младограмматиков и А. Мейе, как это было в ранней статье, а Ф. де Соссюра.

С одной стороны, у Соссюра отмечены «удивительная цельность, логичность и последовательность всего построения» (102). Но, с другой стороны, «Соссюра надо либо целиком принять, либо целиком отвергнуть» (102), и Абаев выбирает последнее. Такая позиция была для советской науки необычной, особенно к концу 50-х гг.; обычно с Соссюром спорили, но что-то в его идеях признавали. Столь последовательно этого ученого отвергал разве что В.Н. Волошинов. То, что у Соссюра и его последователей – структуралистов – правильно, то не ново: «Что язык есть система, было ясно уже В. Гумбольдту» (103). А то, что они внесли нового, глубоко неверно. Во-первых, это «антиисторизм, который будет всегда знаменем любой деградирующей и вырождающейся науки» (99). Во-вторых, это неправомерная абсолютизация знаковости языка.

Если за недостаток историзма Ф. де Соссюра у нас критиковали и раньше, то понимание языка как системы знаков обычно относили к «приемлемым» компонентам его концепции, см., например [Шор, Чемоданов 1945/2009: 9]. Но иная точка зрения у Василия Ивановича, в несколько иных терминах продолжающая его концепцию 30-х гг.: недаром он обвиняет структуралистов в одностороннем рассмотрении языка как «чистой знаковой техники» (103). Он пишет. «В языке переплетаются две системы: познавательная и знаковая. Элементы первой соотносимы с элементами объективной действительности и отражают в конечном счете структуру последней. Вторая (знаковая) система определяется внутриязыковыми корреляциями. В первой системе элементами структуры являются значения, во второй – чистые отношения. Лексика есть преимущественная сфера первых, фонетика – вторых. Промежуточное положение между этими двумя полюсами занимают морфология и синтаксис» (103). Методы структурной лингвистики приемлемы там, «где есть только отношения», то есть в фонетике, поэтому учение о фонеме – «ценнейшее открытие» (103). Но перенесение принципов фонологии в морфологию и лексику «практически почти бесплодно» (103).

Итак, в отличие от В.Н. Волошинова В.И. Абаев (как и М.М. Бахтин в те же годы) не отрицал правомерность структурного подхода к языку, но считал его недостаточным, применимым не ко всем явлениям языка. А ведь действительно структурная фонология дала результаты, что не отрицал и Абаев, но структурную семантику создать не удалось. Наука движется по спирали, и жесткие ограничения, наложенные на лингвистику структурализмом, в наше время все более снимаются, а Абаев принадлежал к тому меньшинству, которое и в середине XX в. выступало против этих ограничений.

Однако в 1960 г. структурный этап еще не закончился, и среди советских теоретиков языкознания чаще думали иначе.

Через пять лет, в № 3 журнала «Вопросы языкознания» за 1965 г. появилась новая статья В.И. Абаева «Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке». В ней в развернутом виде он повторил идеи предыдущей статьи, но эта статья имела гораздо более значительный резонанс, хотя в основном отрицательный.

К тому времени советское языкознание довольно четко делилось на два лагеря: структуралистов и «традиционалистов». Они вели бурные и в этот период в основном свободные дискуссии по вопросу о традиционных и новых структурных методах изучения языка. Абаев относился к далеко не однородному лагерю «традиционалистов», занимая в нем, однако, совершенно особое и отдельное место. И именно он оказался «забойщиком» дискуссии, развернувшейся в «Вопросах языкознания» в 1965–1966 гг.

В этой статье В.И. Абаев мало сказал нового по сравнению с прежними публикациями о своем понимании лингвистики, хотя исторический контекст к 1965 г. изменился. Сравним приведенную выше цитату из статьи 1933 г. о том, что Гумбольдт и Бопп «безусловно выше и ценнее Бругманна или Мейе», и цитату из статьи 1965 г.: «Нет никаких объективных оснований ставить философию Хейдеггера выше философии Гегеля, историческую концепцию Шпенглера и Тойнби выше исторической концепции Маркса, лингвистические идеи Соссюра выше лингвистических идей В. Гумбольдта» (112). Имена несколько другие, а идея та же.

Идеи ученых первой половины XIX в., особенно В. фон Гумбольдта, по-прежнему оцениваются очень высоко, поскольку они связывали язык с мышлением и «говорили о неразрывной связи языка с историей и культурой народа» (114). Среди русских ученых положительно отмечены А.А. Потебня и А.А. Шахматов (130), несмотря на то, что последний уже был близок к позитивизму. Младogramматики по-прежнему характеризуются резко отрицательно: «отход от широких обобщений», «сосредоточение внимания на формальной стороне языка», «абстракционистские и формалистические тенденции» и др. (114).

В те годы и многие «традиционалисты», и все без исключения структуралисты резко противопоставляли младogramматиков Ф. де Соссюру и его последователям, но В.И. Абаев подчеркивал, наоборот, их сходство. Так он считал и в 30-е гг., но в 1965 г., как и в 1960 г., ситуация требовала сделать акцент именно на структурализме. «Структурализм – детище младogramматической школы... Ф. де Соссюр... мог родиться только в недрах младogramматической школы» (114). «Между атомистическим формализмом (младogramматики. – В.А.) и формализмом системным нет никакой пропасти» (114). И приговор: «Сущность структурализма – не в системном рассмотрении языка, а в дегуманизации языкознания путем его предельной формализации» (115). Уже младogramматики изгоняли из своей науки человека, а структуралисты довели этот процесс до конца.

В.И. Абаев кратко рассматривает разные уже известные тогда у нас направления структурализма, оценивая их несколько по-разному. Он совершенно безжалостен к Ф. де Соссюру и к датским структуралистам (Л. Ельмслев, Х.И. Ульдалль), которых считает «прямыми продолжателями Соссюра» (117); особо он негодует по поводу высказывания Х.И. Ульдалля о необходимости «устранить» человека из науки о языке (118). Несколько выше он оценивает американских дескриптивистов, у которых «можно было бы кое-чему поучиться» в «описании языков, не имеющих истории» (117), и особенно Пражскую школу. У Н.С. Трубецкого и его коллег он отмечает как «здоровое зерно» учение о фонеме (116), которое ученый всегда оценивал высоко. Но оба направления тоже оказались в русле «лингвистического модернизма», поскольку абсолютизировали полученные ими результаты, в частности, пражцы неправомерно распространили пригодные для фонологии идеи на более высокие уровни языка (116–117). Упоминает он и «трансформационную лингвистику», то есть уже развивавшийся генеративизм Н. Хомского, но не увидел в нем ничего, кроме «научообразных экспериментов над давно известным явлением синтаксической синонимии» (117). Такая оценка была осо-

бенно неадекватной, впрочем, тогда у нас еще мало кто оценивал идеи Н. Хомского по существу.

Новым для В.И. Абасва стало включение лингвистических проблем в широкий культурный контекст. Редколлегия, публикуя статью, высказывала явное неодобрение: «Полемическая статья В.И. Абасва посвящена не только лингвистическим вопросам..., но и вопросам, выходящим за пределы языкознания... Редколлегия, однако, не сочла возможным сократить внелингвистические разделы статьи В.И. Абасва, так как это могло нанести ущерб целостности изложения взглядов автора» (108).

В статье дается определение модернизма: «Когда общество вступает в полосу духовного кризиса, оно судорожно хватается за все *новое*. Но так как это делается в условиях идейной опустошенности и оскудения, то поиски нового идут преимущественно по линии *формы*, формальных приемов, формальных ухищрений, формальных вывертов. Содержание же, если оно вообще существует, остается крайне убогим и примитивным. Вот это и есть модернизм» (110). Модернизм в любой сфере, по мнению Василия Ивановича, связан с дегуманизацией, изгнанием из этой сферы человека. Он пишет: «Один из теоретиков “нового” романа, французский писатель Ален Роб-Грийе, призывает к полному изгнанию человека из художественной ткани романа... Кто хочет знать, как выглядит дегуманизованное искусство, тому достаточно посмотреть абстракционистские картины и послушать додекафоническую музыку» (111).

«Дегуманизация» лингвистики – частный случай общего процесса, «лишь одно звено в общем процессе дегуманизации культуры. Какую бы гуманитарную область мы ни взяли, везде наблюдаются одни и те же тенденции формализма и антигуманизма: в философии, социологии, истории, литературоведении» (115).

Критика модернизма в литературе и искусстве, связанная с его отходом от гуманистических традиций XIX в., в те годы у нас часто встречалась, но на структурную лингвистику она проецировалась редко, а критика структурализма велась большей частью с позиций младограмматизма, прикрываемого поверхностным марксизмом (Ф.П. Филин и др.). Зато и здесь вспоминается книга В.Н. Волошинова. Критикуя того же Ф. де Соссюра, В.Н. Волошинов связывал его идеи с «формалистическими направлениями» других гуманитарных наук и «художественной речью» его времени, где происходит отказ от «ответственной социальной позиции» и «выступает на первый план не то, *что*..., собственно, “*мнится*”, а “*как*” оно индивидуально или типически мнится» [Волошинов 1929/1995: 380].

В статье В.И. Абасва затрагивались еще две актуальные для своего времени проблемы: математизация языкознания и оценка событий 1950 г. в советском языкознании.

К 1965 г. для советских лингвистов очень важной считалась проблема использования тем или иным образом математики в исследованиях по языку. Хотя математизация лингвистики началась позже становления структурализма, лишь в послевоенные годы, но именно разные направления, отстаивавшие структурализм, особенно дескриптивизм, а затем и генеративизм (в те годы у нас не отграничивавшийся от структурализма) использовали математический аппарат, иногда сложный для понимания гуманитариями. А лингвистическая суть идей западной науки нередко оказывалась для СССР не такой уж новой, поскольку у нас и раньше развитие шло в том же направлении, но вот использование формул и графов и построение теорем для конца 50-х гг. казалось чем-то абсолютно новаторским, символом «современной науки». А поскольку как раз тогда в моду вошли настроения, сформулированные в известных стихах Б. Слуцкого: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне», и научной молодежи, в том числе гуманитарной, очень хотелось быть «физиками», а не «лириками», то данный вопрос приобрел большую остроту.

«Традиционалисты», наоборот, осуждали «ненужную» математизацию, отвергая ее вообще или признавая лишь там, где она уже была освящена традицией, как в экспериментальной фонетике. И В.И. Абасва, признав допустимым использование в лингвистике статистических методов, резко отозвался о выделении особой дисцип-

лины – математической лингвистики, видя в ней лишь «скрещение псевдолингвистики с псевдоматематикой» (119) и «способ ухода от действительности» (121). Опять-таки это «бегство от человеческого фактора» (122), столь резко осуждаемое Василием Ивановичем.

Оценки Н.Я. Марра повторяют статью о нем 1960 г. Но еще резче В.И. Абасев оценивал «сталинский период» в развитии советского языкознания. В 1965 г. во главе государства уже не стоял Н.С. Хрущев, а антисталинская тематика в печати, по инерции еще встречавшаяся, сходилась на нет (журнал «Вопросы языкознания» не слишком поощрял ее и раньше). Но Василий Иванович критиковал даже не столько работы И.В. Сталина, в суждениях которого он находил «много правильного», шедшего «не из каких-то глубин марксистской теории, а из элементарного здравого смысла» (109), сколько общую ситуацию в стране. «Весь гуманитарный сектор, т. е. общественные науки, плюс литература, плюс искусство, в лице их отдельных представителей, выступал единым фронтом, под знаком культа личности» (112). В том числе и лингвисты, которые «начинали любую статью на любую тему дифирамбами по адресу Сталина» (112), «не имели сами никакой единой и цельной лингвистической концепции, которая могла бы стать основой советского теоретического языкознания» (109). Несомненно, В.И. Абасев не мог забыть собственную судьбу после сталинского выступления.

Редакция журнала с самого начала задала тон обсуждения, указав: «С постановкой и решением некоторых вопросов редколлегия не может согласиться» (108). В нескольких номерах за 1965 и 1966 гг. на статью В.И. Абасева откликнулись И.И. Ревзин, Ю.В. Рождественский (также автор итоговой редакционной статьи), Г.И. Мачавариани, В.Ю. Розенцвейг, А.В. Гладкий, Л.Р. Зиндер, П.С. Кузнецов. Отклики еще семерых участников дискуссии, в том числе Т.П. Ломтева, И.В. Мегрелидзе и единственного иностранного участника С. Абрахама из Венгрии, были лишь кратко изложены в итоговой статье.

Итого, на статью В.И. Абасева откликнулось 14 человек, из них никто не принял его основные идеи. Преобладали представители структурного лагеря, отклики которых были выдержаны в едином духе (лишь И.В. Мегрелидзе, самый верный ученик Н.Я. Марра, не согласился со слишком плохим, по его мнению, отношением В.И. Абасева к его великому учителю). Более близкие к В.И. Абасеву по взглядам языковеды вмешиваться в спор не стали. Ученый оказался один. Тон большинства статей был очень резким и личностным. Если сам В.И. Абасев, критикуя зарубежных авторов, воздержался от персоналий в современной советской науке (изредка встречаются лишь положительные упоминания, например, А.Ф. Лосева), то его оппоненты жестко оценивали не только идеи, но и их носителя, приписывая ему и то, что он не говорил. Г.И. Мачавариани считал статью марристской, хотя в ней «новое учение» оценивалось как неудовлетворительно. Математик А.В. Гладкий, много занимавшийся математической лингвистикой, сопоставил статью В.И. Абасева с разгромом кибернетики и генетики в сталинское время [Гладкий 1966: 59], что было некорректным уже потому, что Василий Иванович не имел никакой административной власти. А.В. Гладкий не без основания увидел в статье «наклеивание ярлыков и предание анафеме инакомыслящих» [Гладкий 1966: 59], но и ее оппоненты делали то же. В контексте эпохи позиция В.И. Абасева воспринималась ее противниками как официально-охранительная, хотя Василий Иванович, безусловно, выражал личную, выстраданную точку зрения (не удивительно, что официальный лагерь его не поддержал).

Самым ярким среди выступлений против В.И. Абасева, бесспорно, был отклик профессора МГУ П.С. Кузнецова. Его статья выдержана в очень резком духе, на одной стр. 68 положения В.И. Абасева названы «клеветой», «профанацией», «кривым зеркалом». Особенно ядовитым тон становится, когда речь заходит о математических методах: «Разве можно считать лженаукой всё то, что просто не понимаешь?» [Кузнецов 1966: 72]. Рассказывают, что автор первоначально назвал данную дискуссионную статью «Мракобес под маской гуманиста», но редакция изменила название на

более нейтральное. Эта статья оказалась для Кузнецова одной из последних (он умер менее чем через два года после ее публикации, в марте 1968 г.) и вскоре стала выглядеть как завешание ее автора, который охарактеризовал ее как публикацию «скорее на моральную тему, чем на собственно научную» [Кузнецов 1966: 62]. Если другие участники дискуссии были заметно моложе Василия Ивановича (который пережил их всех, за исключением А.В. Гладкого), то Кузнецов принадлежал к одному с ним поколению.

В оценках науки о языке П.С. Кузнецов ни в чем не согласен со своим оппонентом. Под защиту он взял даже младограмматиков, не пользовавшихся популярностью среди советских структуралистов, поскольку у них уже проявилось стремление к точности и строгости [Кузнецов 1966: 64]. Тем более он защищал от В.И. Абаева Ф. де Соссюра и его последователей. Говоря об истории советского языкознания, он строг к Н.Я. Марру и гораздо лучше оценивает «сталинский период», который предоставлял лингвистам «несравненно более широкое поле самостоятельной научной деятельности, чем “новое учение о языке” Н.Я. Марра» [Кузнецов 1966: 67–68]. В статье П.С. Кузнецов отстаивал гуманизм как моральный принцип, упрекая своего оппонента в том, что тот, пользуясь словом «гуманизм», понимает его в «общеидеологическом» смысле [Кузнецов 1966: 62]. Осуждая призыв В.И. Абаева идти «назад к Гумбольдту», он заявлял: «Любая наука не может топтаться на месте, а тем более идти вспять» [Кузнецов 1966: 69]. И здесь профессор, пожалуй, нащупал самое слабое место своего оппонента, отметив у него стремление ограничить задачи науки о языке: «Современный всесторонне развитый человек хочет знать всё. Ему нельзя искусственно ставить преграды» [Кузнецов 1966: 72].

В споре В.И. Абаева с П.С. Кузнецовым и другими участниками дискуссии основное содержание глубинно было связано с различием того, что когда-то В.Н. Волошинов назвал «абстрактным объективизмом» и «индивидуалистическим субъективизмом», хотя на поверхности оно затемнялось побочными обстоятельствами вроде борьбы партий в советской лингвистике или необходимости дать оценку марризму, а также использованием обоими противниками обычных для советского времени негативных эпитетов. В разных формах шла борьба стремления к строгому изучению своего объекта по образцу естественных наук, с опорой только на наблюдаемые факты, и желания рассматривать язык вместе с говорящим на нем человеком, с учетом интуиции, интроспекции и творческих способностей людей. Последний подход был сформулирован В. фон Гумбольдтом еще в начале XIX в., но его недостатком постоянно оказывались нестрогость и произвольность, тогда как противоположный подход, достигший максимума в структурализме, давал несомненные, но в то же время ограниченные результаты. «Абстрактный объективизм» в разных его формах господствовал до 50–60-х гг. XX в., хотя время от времени появлялись «диссиденты», в том числе Волошинов и Абаев, см. [Алпатов 2005: 251–273]. Лишь Н. Хомский в 1957 г. предложил программу синтеза двух подходов, попытавшись соединить формализацию с тезисом В. фон Гумбольдта о языке как творчестве.

Как часто бывает в истории науки, в споре крупных ученых, не принимавших и даже считавших не имеющими права на существование позиции друг друга, каждый из оппонентов был в чем-то прав, абсолютизируя одну сторону единого процесса. Подробнее см. [Алпатов 2009].

После 1965 г. В.И. Абаев выступал по вопросам лингвистической теории все реже. Лишь в 1986 г. он выступил с итоговой для него в этой области статьей «Языкознание описательное и объяснительное. К классификации наук». К этому времени проблема разграничения описательной и объяснительной лингвистики уже стала прочно ассоциироваться с Н. Хомским, который предложил совершенно новое ее решение. Однако Абаев, упомянув Хомского в 1965 г., на этот раз его проигнорировал, введя данную проблему в рамки, установленные еще наукой XIX в.: не всякое историческое исследование – объяснительное, но «историзм – обязательный признак объяснительной науки» (136). Так же считал еще Г. Пауль. Структурализм же (как и близкая к нему формальная

школа в литературоведении) – «тупиковое направление» (137), поскольку здесь подход не только неисторичен, но и опять-таки связан с «дегуманизацией» (137). Однако эта крайне жесткая и несправедливая оценка тут же корректируется: «тезис Соссюра “язык надо изучать в себе и для себя” применим только к описательному, но не объяснительному языкознанию» (137). Значит, хотя бы для описательного языкознания структурализм что-то дает. Далее вновь высоко оценивается фонология, обладающая «чертами объяснительной науки в отличие от фонетики, которая занимается простым описанием звуков речи» (138).

В отличие от предыдущих публикаций (кроме разве что статьи о Марре) ученый обратился здесь и к вопросам типологии. Здесь также вопрос об описательном и объяснительном языкознании решается в духе XIX в.: объяснительной может быть лишь типология, связывающая структурные модели «с определенной моделью мыслительных операций» (145), то есть стадияльная типология, дискредитированная еще к концу XIX в., а потом неудачно возрождавшаяся Н.Я. Марром. Объяснительная типология прямо отождествляется в статье со стадияльностью (140). Василий Иванович, безусловно, отвергает «скоропелые» и «бесплодные» построения Марра, но указывает на «более позитивные подходы», проявившиеся в 70–80-е гг. в работах С.Д. Кацнельсона и Г.А. Климова.

В связи с типологией В.М. Абаев вспомнил и собственные идеи, высказанные на полвека раньше: необходимо различать грамматическую типологию, рассматривающую явления, где «процесс технизации и формализации является определяющим», и лексико-семантическую типологию, имеющую дело непосредственно с мышлением (146). Круг замкнулся, снова речь идет о языке как идеологии и языке как технике, главным вкладе Абаева в теорию языка. Данная статья, написанная, когда автору уже было более восьмидесяти, совмещает некоторую архаичность с весьма актуальными идеями. Крайности могут сходиться: автор статьи призывает «реабилитировать проблему происхождения языка» (141); многим у нас тогда казавшуюся вышедшей из активного обихода науки, однако как раз в это время на Западе о ней вспомнили после многолетнего забвения. И статья вызывает интерес и сейчас: недавно мы столкнулись с ее обсуждением в Интернете.

Наследие В.И. Абаева интересно не только для иранистики, но и для общего языкознания. Думается, что интерес к нему на современном этапе науки, характеризуемом все большим интересом к проблеме «человек и язык», будет актуальным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев 1939 – В.И. Абаев. Из осетинского эпоса. М., 1939.
Абасв 1949а – В.И. Абаев. Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М., 1949.
Абаев 1949б – В.И. Абаев. О винительном падеже в осетинском // Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М., 1949.
Абаев 1950 – В.И. Абаев. Русско-осетинский словарь. М., 1950 (2-е изд. 1970; 3-е изд. 2000).
Абаев 1958–1989 – В.И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1. М., 1958; Т. 2. 1973; Т. 3. 1979; Т. 4. 1989.
Абаев 1959 – В.И. Абаев. Грамматический строй осетинского языка. Орджоникидзе, 1959.
Абаев 1963–1969 – В.И. Абаев. Грамматика осетинского языка. Т. 1. Орджоникидзе, 1963; Т. 2. 1969.
Абаев 1965 – В.И. Абаев. Скифско-европейские изоглоссы. М., 1965.
Алпатов 2005 – В.М. Алпатов. Волошинов, Бахтин и лингвистика. М., 2005.
Алпатов 2009 – В.М. Алпатов. Эпизод идейной борьбы в советской лингвистике // Ирано-Славика. 2009. № 1–2 (20).
Волошинов 1929/1995 – В.Н. Волошинов. Марксизм и философия языка // В.Н. Волошинов. Философия и социология гуманитарных наук. СПб., 1995 (первое изд. книги – 1929).
Гладкий 1966 – А.В. Гладкий. О формальных методах в лингвистике (по поводу статьи В.И. Абаева «Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке») // ВЯ. 1966. № 3.
Кузнецов 1966 – П.С. Кузнецов. Еще о гуманизме и дегуманизации // ВЯ. 1966. № 4.

- Николаева 2000 – *Т.М. Николаева*. Несколько слов о лингвистической теории 30-х: фантазии и прозрения // Слово в тексте и словаре. К 70-летию академика Ю.Д. Апресяна. М., 2000.
- Шайкевич 2005 – *А.Я. Шайкевич*. Русская языковая картина мира в ряду других картинок // Московский лингвистический журнал. 2005. 8. № 2.
- Шор, Чемоданов 1945/2009 – *Р.О. Шор, Н.С. Чемоданов*. Введение в языковедение. М., 1945 (2-е изд. 2009).
- Tanaka 2000 – *Tanaka Katsuhiko*. «Sutaarin-gengogaku»-seidoku. Tokyo, 2000.